

В.Г. Белинский

СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ

«Евгений Онегин»

Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как «Евгений Онегин»¹. И эта робость оправдывается многими причинами. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение, значит — оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. С этой точки зрения даже и то, что теперь критика могла бы с основательностью назвать в «Онегине» слабым или устарелым, даже и то является исполненным глубокого значения, великого интереса. И нас приводит в затруднение не одно только сознание слабости наших сил для верной оценки такого произведения, но и необходимость в одно и то же время во многих местах «Онегина», с одной стороны, видеть недостатки, с другой — достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признает в произведениях искусства только безусловные недостатки или безусловные достоинства и которая не понимает, что условное и относительное составляют форму безусловного.

Вот почему некоторые критики добродушно были убеждены, что мы не уважаем Державина, находя в нем великий талант и в то же самое время не находя между произведениями его ни одного, которое было бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованиям эстетического вкуса нашего времени. Но в отношении к «Онегину» наши суждения могут показаться многим еще более противоречащими, потому что «Онегин» со стороны формы есть произведение в высшей степени художественное, а со стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие достоинства. Вся наша статья об Онегине будет развитием этой мысли, какую бы ни показала она с первого взгляда многим из наших читателей.

Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма *историческая* в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина русская поэзия была не более, как понятливую и переимчивую ученицею европейской музыки, — и потому все произведения русской поэзии до Пушкина как-то походили больше на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. Сам Крылов — этот талант, столько же сильный и яркий, сколько и национально-русский, долго не имел смелости отказаться от незавидной чести быть то переводчиком, то подражателем Лафонтена. В поэзии Державина ярко проблескивают и русская речь и русский ум, но не больше, как проблескивают, потопляемые водою риторически понятых иноземных форм и понятий. Озеров написал русскую трагедию, даже историческую — «Димитрия Донского», но в ней «русского» и «исторического» — одни имена: все остальное столько же русское и историческое,

сколько французское или татарское. Жуковский написал две «русские» баллады — «Людмилу» и «Светлану»; но первая из них есть переделка немецкой (и притом довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь действительно поэтическими картинами русских святочных обычаев и зимней русской природы, в то же время вся проникнута немецкою сентиментальностью и немецким фантазмом. Муза Батюшкова, вечно скитаясь под чужими небесами, не сорвала ни одного цветка на русской почве. Всех этих фактов было достаточно для заключения, что в русской жизни нет и не может быть никакой поэзии и что русские поэты должны за вдохновением скакать на Пегасе в чужие края, даже на восток, не только на запад. Но с Пушкиным русская поэзия из робкой ученицы явилась даровитым и опытным мастером. Разумеется, это сделалось не вдруг, потому что вдруг ничего не делается. В поэмах: «Руслан и Людмила» и «Братья-разбойники» Пушкин был не больше, как учеником, подобно своим предшественникам, — но не в поэзии только, как они, а еще и в попытках на поэтическое изображение русской действительности. Этим ученичеством и объясняется, почему в «Руслане и Людмиле» так мало русского и так много итальянского, а «Разбойники» так похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада «Жених», написанная им в 1825 году, в котором появилась и первая глава «Онегина». Эта баллада и со стороны формы, и со стороны содержания насквозь проникнута русским духом, и о ней в тысячу раз больше, чем о «Руслане и Людмиле», можно сказать:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

Так как эта баллада и тогда не обратила на себя особенного внимания, а теперь почти всеми забыта, мы выпишем из нее сцену сватовства:

Наутро сваха к ним на двор
Нежданная приходит,
Наташу хвалит, разговор

С отцом ее заводит:
«У вас товар, у нас купец,
Собою парень молодец,
И статный, и проворной,
Не вздорный, не задорной.

Богат, умен, ни перед кем
Не кланяется в пояс,
А как боярин между тем
Живет, не беспокоясь;
А подарит невесте вдруг
И лисью шубу, и жемчуг,
И перстни золотые,
И платья парчевые.

Катаясь, видел он вчера
Ее за воротами;
Не по рукам ли, да с двора,
Да в церковь с образами?»
Она сидит за пирогом
Да речь ведет обиняком,
А бедная невеста
Себе не видит места.

«Согласен, — говорит отец, —
Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец;
Одной в светелке скучно.
Не век девицей вековать,
Не все касатке распевать,
Пора гнездо устроить,
Чтоб детушек покоить».

И такова вся эта баллада от первого до последнего слова! В народных русских песнях, вместе взятых, не больше русской народности, сколько заключено ее в этой балладе! Но не в таких произведениях должно видеть образцы проникнутых национальным духом поэтических созданий, — и публика не без основания не обратила особенного внимания на эту чудную балладу. Мир, так верно и ярко изображенный в ней, слишком доступен для всякого таланта уже по слишком резкой его особенности. Сверх того, он так тесен, мелок и немногосложен, что истинный талант не долго будет воспроизводить его, если

не захочет, чтоб его произведения были односторонни, однообразны, скучны и, наконец, пошлы, несмотря на все их достоинства. Вот почему человек с талантом делает обыкновенно не более одной или, много, двух попыток в таком роде: для него это — дело между прочим, затеянное больше из желания испытать свои силы и на этом поприще, нежели из особенного уважения к этому поприщу. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», не превосходя пушкинского «Жениха» со стороны формы, слишком много превосходит его со стороны содержания. Это — поэма, в сравнении с которою ничтожны все богатырские народно-русские поэмы, собранные Киршею Даниловым. И между тем «Песня» Лермонтова была не более, как опыт таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтов никогда ничего больше не написал бы в этом роде. В этой песне Лермонтов взял все, что только мог ему представить сборник Кирши Данилова; и новая попытка в этом роде была бы по необходимости повторением одного и того же — старые погудки на новый лад. Чувства и страсти людей этого мира так однообразны в своем проявлении; общественные отношения людей этого мира так просты и несложны, что все это легко исчерпывается до дна одним произведением сильного таланта. Разнообразие страстей, тонкие до бесконечности оттенки чувств, бесчисленно многосложные отношения людей, общественные и частные, — вот где богатая почва для цветов поэзии, и эту почву может приготовить только сильно развивающаяся или развившаяся цивилизация. Произведения вроде «Jeanne»* Жоржа Занда возможны только во Франции, потому что там цивилизация, в многосложности ее элементов, все сословия поставила в тесное и электрически взаимодействующее отношение друг к другу. Наша поэзия, напротив, должна искать для себя материалов почти исключительно в том классе, который, по своему образу жизни и обычаям, представляет более развития

* «Жанна» (фр.).

и умственного движения. И если национальность составляет одно из высочайших достоинств поэтических произведений, то, без сомнения, истинно национальных произведений должно искать у нас только между такими поэтическими созданиями, которых содержание взято из жизни сословия, создавшегося по реформе Петра Великого и усвоившего себе формы образованного быта. Но большинство публики до сих пор понимает это дело иначе. Назовите народным или национальным произведением «Руслана и Людмилу» — и с вами все согласятся, что это действительно и народное, и национальное произведение. Еще более будут согласны с вами, если вы назовете народным произведением всякую пьесу, в которой действуют мужики и бабы, бородатые купцы и мещане или в котором действующие лица пересыпают свой незатейливый разговор русскими пословицами и поговорками и, вдобавок, пропускают между ними риторические, на семинарский манер, фразы о народности и т.п. Люди более умные и образованные охотно (и притом весьма основательно) видят народную русскую поэзию в баснях Крылова и даже готовы видеть ее (что уже не так основательно) не только в сказках Пушкина («О царе Салтане», «О мертвой царевне и о семи богатырях»), но и (что уже вовсе неосновательно) в сказках Жуковского («О царе Берендее до колен борода» и «О спящей царевне»). Но немногие согласятся с вами, и для многих покажется странным, если вы скажете, что первая истинно национально-русская поэма в стихах была и есть — «Евгений Онегин» Пушкина и что в ней народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском сочинении. А между тем это такая же истина, как и то, что дважды два — четыре. Если ее не все признают национальною — это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фраке или русская в корсете — уже не русские и что русский дух дает себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста. В этом случае у нас многие даже и между так называемыми образованными людьми бессознательно подражают русскому простонаро-

дью, которое всякого чужестранца из Европы *называет* немцем. И вот где источник пустой боязни некоторых, чтоб мы все не онемечились! Все европейские народы развивались как один народ, сперва под сению католического единства, духовного (в лице папы) и светского (в лице избранного главы священной Римской империи), а потом под влиянием одних и тех же стремлений к последним результатам цивилизации — однако тем не менее между французом, немцем, англичанином, итальянцем, шведом, испанцем такая же существенная разница, как и между русским и индийцем. Это струны одного и того же инструмента — духа человеческого, но струны разного объема, каждая с своим особенным звуком, и потому-то они издают полные гармонические аккорды. Если же народы Западной Европы, все равно происходящие от великого тевтонского племени, большею частию смешавшегося с романскими племенами, все равно развившиеся на почве одной и той же религии, под влиянием одних и тех же обычаев, одного и того же общественного устройства и потом все равно воспользовавшиеся богатым наследием древнеклассического мира, — если, говорим, все народы Западной Европы, составляющие собою единое семейство, тем не менее резко отличаются один от другого, то естественное ли дело, чтоб русский народ, возникший на другой почве, под другим небом, имевший свою историю, ни в чем не похожую на историю ни одного западноевропейского народа, естественно ли, чтоб русский народ, усвоив себе одежду и обычаи европейские, мог утратить свою национальную самобытность и походить как две капли воды на каждого из европейских народов, из которых каждый друг от друга резко отличается и физической, и нравственною физиономиею?.. Да это нелепость нелепостей! хуже этого ничего нельзя выдумать! Первая причина особности племени или народа заключается в почве и климате занимаемой им страны; а много ли на земном шаре стран, одинаковых в геологическом и климатологическом отношениях? И потому, чтоб напор европейских обычаев и идей мог лишить русских их национальности,

для этого нужно, прежде всего, ровный, степной материк России превратить в гористый; бесконечное его пространство сделать меньшим, по крайней мере, в десять раз (за исключением Сибири). И много, кроме того, нужно бы сделать такого, чего нельзя сделать и о чем фантазировать на досуге прилично только господам Маниловым. Далее: бедна та народность, которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью! Наши самозванные патриоты не видят, в простоте ума и сердца своего, что, беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем самым жестоко оскорбляют ее. Но когда сделалось всегда победоносным русское войско — если не тогда, как Петр Великий одел его в европейское платье и приучил его сообразной с этим платьем военной дисциплине? Как-то естественно видеть толпу крестьян, дурно вооруженных, еще хуже дисциплинированных, по случаю войны недавно оторванных от избы и сохи, как-то естественно видеть их бегущими в беспорядке с поля битвы; точно так же, как естественно видеть полки солдат, даже и при военной неудаче, или храбро умирающими на поле битвы, или отступающими в грозном порядке. Некоторые из горячих славянолюбов говорят: «Посмотрите на немца — он везде немец, и в России, и во Франции, и в Индии; француз тоже везде француз, куда бы ни занесла его судьба; а русский в Англии — англичанин, во Франции — француз, в Германии — немец». Действительно, в этом есть своя сторона истины, которой нельзя оспаривать, но которая служит не к унижению, а к чести русских. Это свойство удачно применяться ко всякому народу, ко всякой стране отнюдь не есть исключительное свойство только образованных сословий в России, но свойство всего русского племени, всей северной Руси. Этим свойством русский человек отличается и от всех других славянских племен, и, может быть, ему-то и обязан он своим превосходством над ними. Известно, что наши русские солдаты — удивительные природные философы и политики и нигде ничему не удивляются, но все находят очень естественным, как бы

это все ни было противоположно их понятиям и привычкам. Чтоб слишком не распространяться об этом предмете, ссылаемся, для краткости, на замечание Лермонтова об удивительной способности русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. «Не знаю (говорит автор «Героя нашего времени»), достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения». Здесь дело идет о Кавказе, а не о Европе; но русский человек везде тот же. Угловатый немец, тяжеловато гордый Джон-Буль уже самими их ухватками и манерами никогда и нигде не скроют своего происхождения; и после француза только русский может по наружности казаться просто человеком, не нося на своем лбу национального клейма или паспорта. Но из этого отнюдь не следует, чтобы русский, умея в Англии походить на англичанина, а во Франции — на француза, хоть на минуту перестал быть русским или хоть на минуту не шутя мог сделаться англичанином или французом. Форма и сущность не всегда одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себе, но от сущности своей отрешиться совсем не так легко, как променять охабень на фрак. Между русскими есть много галломанов, англоманов, германоманов и разных других «манов». Посмотришь на них: точно так — с которой стороны ни зайди — англичанин, француз, немец да и только. Если англоман, да еще богатый, то и лошади у него англизированные, и жокеи, и грумы, словно сейчас из Лондона привезенные, и парк в английском вкусе, и портер он пьет исправно, любит ростбиф и пудинг, на комфорте помешан и даже боксирует не хуже любого английского кучера. Если галломан — одет как модная картинка, по-французски говорит не хуже парижанина, на все смотрит с равнодушным презрением, при случае почитает долгом быть и любезным и остроумным. Если германоман — больше всего любит искусство как искусство, науку как науку, романтизи-

рует, презирает толпу, не хочет внешнего счастья и выше всего ставит созерцательное блаженство своего внутреннего мира... Но пошлите всех этих господ пожить — англоманов в Англию, галломанов во Францию, германоманов в Германию, да и посмотрите, так ли охотно, как вы, поспешат англичане, французы и немцы признать своими соотечественниками наших англоманов, галломанов и германоманов... Нет, не попадут они в соотечественники этим народам, а только разве просльвут между ними притчею во языцех, сделаются предметом всеобщего оскорбительного внимания и удивления. Это потому, повторяем, что усвоить чуждую форму совсем не то, что отрешиться от собственной сущности. Русский за границей легко может быть принят за уроженца страны, в которой он временно живет, потому что на улице, в трактире, на балу, в дилижансе о человеке заключают по его виду; но в отношениях гражданских, семейных, но в положениях жизни исключительных — другое дело: тут поневоле обнаружится всякая национальность, и каждый поневоле явится сыном своей и пасынком чужой земли. С этой точки зрения русскому гораздо легче прослыть за англичанина в России, нежели в Англии. Но в отношении к отдельным личностям еще могут быть странные исключения: в отношении же к народам никогда. Доказательством могут служить те славянские племена, которых исторические судьбы были тесно связаны с судьбами Западной Европы: Чехия отовсюду окружена тевтонским племенем; властителями ее в течение целых столетий были немцы, развилась она вместе с ними на почве католицизма и упредила их и словом и делом религиозного обновления — и что ж? Чехи до сих пор славяне, до сих пор не только не германцы, но и не совсем европейцы...

Все сказанное нами было необходимым отступлением для опровержения неосновательного мнения, будто бы в деле литературы чисто русскую народность должно искать только в сочинениях, которых содержание заимствовано из жизни низших и необразованных классов. Вследствие этого странного мнения, оглашающего «не-

русским» все, что есть в России лучшего и образованнейшего, вследствие этого лапотно-сермяжного мнения какой-нибудь грубый фарс с мужиками и бабами есть национально-русское произведение, а «Горе от ума» есть тоже русское, но только уже не национальное произведение; какой-нибудь площадный роман, вроде «Разгуляя купеческих сынков в Марьиной роще», есть хотя и плохое, однако тем не менее национально-русское произведение, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако тем не менее русское, но не национальное произведение... Нет, и тысячу раз нет! Пора наконец, вооружиться против этого мнения всею силою здравого смысла, всею энергиею неумолимой логики! Мы далеки уже от того блаженного времени, когда псевдоклассическое направление нашей литературы допускало в изящные создания только людей высшего круга и образованных сословий, и если иногда позволяло выводить в поэме, драме или эклоге простолюдинов, то не иначе как умытых, причесанных, разодетых и говорящих не своим языком. Да, мы далеки от этого псевдоклассического времени; но пора уже отдалиться нам и от этого псевдоромантического направления, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять в поэмах и драмах не только честных людей низшего звания, но даже воров и плутов, вообразило, что истинная национальность скрывается только под зипуном, в курной избе и что разбитый на кулачном бою нос пьяного лакея есть истинно шекспировская черта, — а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на народность. Пора наконец догадаться, что, напротив, русский поэт может себя показать истинно национальным поэтом, только изображая в своих произведениях жизнь образованных сословий: ибо, чтоб найти национальные элементы в жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, — для этого поэту нужно и иметь большой талант, и быть национальным в душе. «Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но в са-